Чтобы рассказать историю появления в деревне Валки черного Сашки, или, как его зовут, Сашки-Африкашки, надо прежде всего поведать о его матери, деревенской любимице Ольге, и главной его мамке – Ульяне Зотовне Зотовой.

С нее и начинать надо – с Зотовны. Родом она не из этих краев. Привез ее Пашка Зотов с Севера, где работал пятнадцать лет на рыбе. Вернулся он на родную землю инвалидом и вскорости помер. Осталась Зотовна в новорубленом доме с тринадцатилетней девкой Людкой. Сама крупная в кости, белая телом, спокойная лицом и черная волосом. И дочь в нее, только вот ростиком не вышла. Людка недолго задержалась в Валках. После восьмилетки уехала в город учиться на маляра да и осталась там. Правда, вышла попервости замуж за парня тоже из Валков – Геню Косых, с которым вместе работала на стройке.

Три дня поплясала деревня на свадьбе, а через год с небольшим получила Зотовна подарочек – рыжую да крепкую, как молодой боровичок, внучку Ольгу. Не пожилось молодым вместе, разбежались они из общежития по разным углам. И дите не понадобилось.

Зотовна работала тогда в детском саду и за истопника, и за завхоза, а то и за стряпуху или за нянечку – ребятишек она любила. Садик маленький, а она баба разворотливая, до работы хваткая, незаменимый человек. Так Ольга при ней и росла. То, глядишь, за хлебом на телеге вместе едут – девчонка песни поет, то дрова к печам следом за бабкой носит, за пороги запинается. Даром что в детсаду числилась, а все как хвостик за Зотовной, воспитатели рукой махнули.

Бабка от нее без ума: как же, ее Олюшка краше всех. Вылитый дед Павел, глаза голубые, и волос рыжий, густой, тело налитое, румяное.

Вот на этой почве у них с бабкой Косых шла война. Геня, Ольгин отец, тоже рыжий. Но порода ихняя, как считала Зотовна, вывелась: худосочны все, веснушками как мухами засижены, и глаза, словно у котов, рыжие.

Олюшка, как подросла, сама стала бегать к отцововой бабке, известно, что ласковый теленок двух маток сосет. Родители о ней не больно пеклись. Отец вскорости женился, да и мать, помыкавшись одна, нашла себе пару и родила двойню – двух парнишек. После этого в Валках ее почти не видели.

Олю знали и любили здесь все. Ласковая да услужливая, на ногу легка да на язык бойка – в Зотовну. Куда сбегать: на почту или в магазин, – соседки Олю кличут. Сено ворошить, картошку копать, как же без нее? Она и сама тут как тут. Одно подаст, другое отнесет. Да рассмешит всех. В клубе ни одно выступление без нее не обойдется, про всех басни расскажет, и про пьяницу, и про лодыря, и про начальство. Да с ужимками – все от смеха за животы хватаются.

В сельской школе Олей тоже не нахвалятся. Нет, не за оценки, хотя и училась она хорошо, – за общественную работу. Подросла, всю пионерию на себя взяла. Правда, бывали и у нее промашки. Раз на гороховом поле бригадир весь отряд с нею во главе застукал, ну да с кем такое в детстве не бывало!

Вот так жила-поживала Зотовна с внучкой, надеялась на свою Олюшку (близнецы после того, как Ольга наокупывала их в речке, глаз в деревню не показывали) и не знала, что разлука не за горами.

Новенькая учительница английского языка написала матери Людмиле письмо в город с тем, что у ее дочери большие способности к иностранным языкам и девочку надо учить в специальной школе.

Людмила с этим письмом сходила куда надо, и пришлось Ольге ехать в эту специальную школу-интернат. Но она не унывала. И на каникулы, и на выходной спешила в Валки. Бывало, переметет все дороги пурга, и мороз лютый, а она в ночь приедет на электричке до ближней станции и спозаранку на дороге голосует. Зотовна только еще встает, а в двери уже тук-тук – Олюшка вваливается. Нос морковкой красной, вся в снегу, и к Зотовне на шею: «Бабулюшка ты моя!»

Все в доме перестирает, перемоет, у кабанчика вычистит и бабкиных подружек рассмешит: начнет песни по-иностранному, заковыристо так, что язык сломаешь, петь да по-ихнему же плясать – ужом извивается. Точь-в-точь как в кино.

Огород засеять да убрать, дров наколоть – тут Зотовна без нее ничего делать не смеет – рассердится девка.

Красивая вымахала. На голове стрижка модная, а волосы сами по себе как огонь, так и в областной парикмахерской не выкрасят. Телом в Зотовну – статная да белая. Но парни деревенские ее побаивались. На язык больно остра, да и умна не в пример многим. В международной политике не хуже завклубом разбирается. Все же как-никак из специальной школы девка.

Солнце всходит да заходит, и годочки все летят. В тот год, как Ольга десятилетку кончила, и весна, и лето стояли дождливые, дорогу развезло, и с месяц Зотовна не видела внучку. А тут глянь: солнечный день, и Олюшка у крыльца в платье белом, газовом, в прическе завитой. Эдакая принцесса, а босиком, и ноги в грязи по колено. Прямо с выпускного, добиралась на попутке, а с шоссейки напрямки километра три бежала. Смеется, счастливая.

– Ты еще жива, моя старушка?!

Бабка в слезы от радости:

– Ну, внучка, теперь уж насовсем ко мне...

– Да нет, бабушка, – сама ноги в корыте моет и кричит Зотовне: – В Москву поеду...

– Это еще зачем? – Зотовна так и села на крыльцо.

– Поступать в Институт дружбы народов, там иностранцы учатся. Зря я, что ли, над инглишем сохла?

– Лихо ты мое, – запричитала, словно учуяла неладное, Зотовна.

А Оля ее тормошить:

– Ну, ну... туда, знаешь, как трудно поступить. Может, еще провалюсь на экзаменах... Вернусь к тебе назад, замуж за кого скажешь выскочу, нарожаю тебе ребятишек полный дом...

Смеется, заливается, и бабка вместе с ней заулыбалась.

– Ну, ну, Емеля...

– А если поступлю да выучусь, тебя в город заберу. Телевизор самый лучший купим, будешь в кресле мягком сидеть да поглядывать.

Что девку держать, если башковитая. Зотовна и сама понимала, что образование в наше время – большое дело. Да уж больно далеко – в саму Москву. Попечалилась Зотовна, но и погордилась. Глядишь, внучка ее в школе учить ребятишек станет.

В первые же каникулы приехала Оля. Ох, и рассказов было, в клубе весь вечер просидели, кино крутить не стали. Но посерьезнела девка. Приберется по дому – и за учебники. Разве что сбегает в детсадик, Зотовне что поможет. Той теперь какая пенсия – Олюшке помогать надо, из всего выросла, а одеть-обуть нынче чего стоит. От матери немного перепадало: на руках два сорванца да мужик пьющий.

К лету пришло письмо из Москвы от Оли. Пишет, бросай детсадик, бабулюшка, отдыхай. Я нашла себе на все лето подходящую работу, приеду в Валки только к осени, и то ненадолго. Посокрушалась Зотовна, лучше бы в Валках подрядилась, работы здесь полно, пожили бы все лето вместе, она бы насмотрелась на свою красавицу. Да оказалось, что подрядилась Оля не только на лето, но и зимой вечерами, после учебы работать станет.

В конце августа появляется наша Олюшка. Бабка так и обмерла: внучка ее в штанах иностранных, на заду все исписано.

– Да ты что, бабулюшка, они пять твоих пенсий стоят...

– Да что пензия, наши слезушки. А вот ты лучше бы лапотину каку себе справила...

Но послушалась ее Оля, по деревне в джинсах не ходила, только в клуб к молодежи. Валки, конечно, – деревня в стороне, но молодежь уже моду переняла, кто в кино увидел, кто из города привез. Девки тоже в штанах щеголяют, но таких обтяжных ни у кого не было.

Штаны штанами, но и бабке Оля всего навезла: и штапеля на платье, и платок теплый клетчатый, и конфет всяких, и чаю индийского.

По второму году уже не приезжала Олюшка, только письма да посылки присылала. И от бабкиных переводов наотрез отказалась.

Но не больно поотдыхала Зотовна. Всего-то один годок с небольшим. Как-то в феврале приходит от Оли телеграмма, мол, жди, скоро буду. Зотовна, конечно, истосковалась, рада-радешенька, шанег напекла и пельменей наморозила.

И вправду, вскорости у калитки «газик» встал. Идет ее Олюшка, в беремях вещи несет, и Петька-шофер из района – чемодан за ней следом. Вот как стала Олюшка приезжать – как городская дама.

Бабка двери настежь: добро пожаловать, дорогая гостюшка!

Та вещи на диван и к бабке на шею, плачет-ревет да смеется. И Зотовна с ней в голос. Петька посмотрел на этот бабий концерт, рукой махнул да из избы.

И тут Зотовна слышит, на диване словно кто замяукал. Ольга бросилась пальто снимать, а у Зотовны сердце так и упало. Не зря ей вещие сны снились, чуяло сердце, что с девкой что-то неладно.

Так и есть. Развязывает Ольга сверток, одеяльце, простыночки...

– О, лишенько ты мое!.. – запричитала Зотовна.

– Да тише ты, не пугайся, бабулюшка... – успокаивает, а сама возится с ребенком, – ты погляди лучше на парнишечку...

Зотовна подошла да так и ахнула: на белых да кружевных простыночках лежит ребеночек месяцев четырех – весь-то с ног до головы черненький, лишь ладони да следочки срозова. Она перекрестилась и зажмурилась: уж не пригрезилось ли ей.

А Оля подгузники мокрые меняет, ребеночка то спинкой, то животиком переворачивает, да ласково так приговаривает:

– Ты не бойся, бабулюшка, у него все такое же, ты погляди... Ну, шоколадненький, в папу... Вот плачет маленький, есть хочет, у мамы молока мало, не хватает бедненькому... сессию сдавала, понервничала, и молоко пропадать стало... вот и приехали к бабулюшке в деревню, куда же нам еще ехать...

– Ой, горе-то какое, – только и выдавила из себя Зотовна. – Что ж ты, девка, наделала!

А Оля парнишечку спеленала, грудью кормит, целует в головку и тихо Зотовну, как дитя малое, поучает:

– Какое же горе – человек родился, правнук твой. Сашкой назвали, как Пушкина. Говорят, смешение кровей полезно, детишки талантливые получаются.

– Дак что, Оля, в Москве русские-то парни перевелись?..

– Так уж случилось, бабулюшка, вместе учимся. Мир да дружба. Зачем же политику нарушать...

– Ох, не до смеха мне, девка... вон у нас бабы – в деревне, да и то от ребенков избавляются... сходила бы и ты... к доктору...

– Жалко мне стало. Меня вот родили, и я живу, хотя и не очень-то кому нужна была, кроме тебя. Хотела пойти, а потом думаю, что, мы с тобой не вырастим, что ли?

– А что же отец-то?

– Да он хороший... я фотку привезла, достань, вон в сумке, посмотри... И замуж зовет, и покупает все...

Зотовна достала фотографию, на которой, прислонившись к дереву, стоял высокий, с кудрявой шапкой волос, одетый, как артист из кино, негр. Лицо у него было широкое и грустное. И, мысленно перекрасив его, бабка даже нашла в его лице небольшое сходство с Олей, но тут же, в каком-то испуге от своих сравнений, отбросила эти никчемные мысли.

– Ну дак чего же?!

– Бабулюшка, ну как же я тебя брошу, старую! Выйдешь замуж, значит, и в Африку с ним надо ехать, а у них там сейчас – ой-ей-ей, за независимость борются. Да и какая же мне Африка, когда я и в Москве-то только Валки во сне вижу. И он здесь не останется, его тоже понять можно.

Зотовна так и похолодела от мысли – куда ж это она, старая дура, свою Олюшку чуть не спровадила? Пусть уж лучше этот парнишеч-

ка... С ума сойти: Олюшку в Африку... еще не хватало. У нее полегчало на сердце, и она засуетилась, побежала на кухню собирать на стол. У девки молоко пропало, да с дороги, а она с упреками и не покормит. Совсем ополоумела... И чего убиваться... Приехала жива-здорова, и ребенок, слава богу, видать, здоровенький, угомонился, сопит...

Назавтра в Валках все от мала до велика уже знали, что за подарочек привезла Ольга на этот раз Зотовне. Бабы засокрушались поломанной судьбе, но нашлись среди них и такие, которые и порадовались, что рыжая бестия не больно высоко прыгнула в Москве, позарилась на иностранца за деньги. Молоденькие девчонки, те вроде бы даже завидовали. Одна так и сказала: «Уж лучше культурный иностранец, чем пьяница», за что схлопотала от матери ухватом.

Бабка Косых – та обрадела. Раз пять за день в магазин за хлебом бегала, чтобы попричитать там:

– Зотовская порода! Тут уж как ни бейся, хоть заучися, все одно гулящие...

Только одна Зина Бердникова, бывшая одноклассница Оли, отнеслась к этому событию преспокойненько.

После школы Зина училась в районе на бухгалтера, вернулась обратно в Валки и вышла замуж за соседа Зотовых – Ивана Бердникова, только что демобилизованного. Сейчас сидела дома после родов, раздобревшая, налитая здоровьем, покоем и лаской. В первый же вечер она прибежала к ним в дом со своей двухмесячной пухлой и сонной Марьей Ивановной. Как ни в чем не бывало, сразу бросилась к Сашке.

«Знала», – с обидой подумала Зотовна.

Целый вечер подруги трещали как сороки: о прививках, присыпках, прибавках. Узнав, что у Оли пропадает молоко, Зина, к удивлению Зотовны, не раздумывая расстегнула свою цветастую готовую лопнуть от переполненных грудей кофточку и принялась кормить черного парнишку. Да еще и радовалась:

– Вот спаситель мой. А то я замучилась: перегрубают, спать не могу, а Марья одна не справляется.

Так и повелось. То Зина прибегала кормить Сашку, то Оля, укутав его, бежала к Бердниковым.

А деревня все пережевывала неслыханную новость, и каждому не терпелось взглянуть на негритенка. Одна за другой то за солью, то за спичками, то за какой-нибудь травой стучались бабы в двери. Но Зотовна, сердясь, их дальше порога не пускала. Ольга же, казалось, не обращала на это никакого внимания и даже иногда, когда Сашка не спал, сама приглашала соседок в горницу и показывала своего «африкашечку». Те, поддерживая разговор, все пялили глаза на ребенка, и Зотовна не раз видела, как старухи, уходя, крестились. Тогда бабка уходила в закуток, за русскую печку, и вытирала там занавеской свои улитые слезами щеки.

Постепенно интерес к черному ребенку и разговоры поослабли, и Зотовна начала успокаиваться. Помогая Ольге купать малыша, она грела воду, устанавливала ванночку, подавала нагретые у печи простынки, но никогда не брала правнука на руки – не могла. Однажды внучка ушла на почту за посылкой от африканца. Зотовна раздела гулькающего малыша, погладила руками все его и совсем не черное, как ей показалось попервости, а светло-коричневое, мягонькое и беззащитное, как у всех детей на свете, тельце, разжала сжатые в кулачок пальчики и, видя, как он, прижав ножки к животику, следит с интересом за ней, загулькала,

как все матери и бабушки на свете. Он словно ждал от нее именно этого, растянул свой пухлый рот в улыбке и пустил слюну.

Сердце ее обмякло. Похлопывая и поглаживая, стала она одевать его во все белоснежное, мягонькое: распашоночки с яркими картинками на груди, ползуночки, дивясь на иностранное. Завернув ножки для тепла в одеяльце, она впервые взяла своего правнука на руки и села у окна.

Ольга с двумя посылками в руках пнула калитку и вошла во двор. Увидев их в окне, так и расцвела вся.

Черный папа оказался заботливым: он прислал в далекие Валки консервов, детского питания и ей, старой, дорогую шерстяную кофту.

– Маде ин не наше, – смеялась Ольга, – носи, пока морозы.

Но Зотовна, помяв в руках дорогую, красивую, каких она отродясь не нашивала, вещь, все же положила ее в сундук. Не надевалась кофта – не к сердцу была.

Каникулы тем временем подходили к концу, и Оля заметно скучнела. Приболел маленький, и они задержались еще на две недели.

У Зотовны разрывалось сердце, не раз она заводила разговор о том, что уж лучше бросить институт или хотя бы на время уйти из него, должно же понять начальство, там, небось, тоже люди сидят... Но Оля стала собираться.

Тут в дело вмещалась Зина. Пришла вечером, как обычно, со своей Марьей Ивановной, а на этот раз еще и с Иваном, и зачастила, обращаясь к Зотовне:

– Что, бабулюшка, оставляй его себе. Вон какой тихий парнишонок. Станут там его по общежитию таскать, в случайные руки совать – испортят. И от искусственного питания болячки замучают. Дите хорошо, пока глаз с него не спускаешь. Положим их вместе с Марьей Ивановной, вдвоем-то веселее расти, ты за ними доглядывать станешь, а я простирну да покормлю...

– У ней, как у дойной коровы, – засмеялся Иван,– на весь детсадик хватит, глядишь, на джинсы заработает...

– У иностранцев такого размера нету, чтобы на меня... – подхватила, ничуть не обидевшись, жена.

– Ой, да уж как же... – растерялась Зотовна от столь неожиданного предложения, но взглянула на тревожно ждущую Олю и поняла, что неспроста Зинка пришла с Иваном, которого соседка почитала за серьезность и домовитость.

Через два дня Оля уехала, и вскоре пришла необычная посылка – большой детский манеж, который установили в горнице у Зотовых. С утра запускали туда чернокудрого Сашку с белобрысой Марьей Ивановной, и весь день крутилась Зотовна у этого манежа, как пчелка у блюдца с медом. Зина тем временем бегала в магазин, стирала, готовила, шила, управлялась по хозяйству в обоих дворах. К ночи приходил Иван, и они уносили ребятишек к себе.

Зотовна оставалась одна. Поначалу болели руки, ныла поясница, но сон был мгновенный и крепкий. Утром она просыпалась, и сразу ее обступали насущные заботы, и она вскакивала так бодро, как лет двадцать назад. Целый день был заполнен у них с Зиной заботами о ребятишках: то из носу потекло, то зубы режутся, то животиком который-нибудь мается. Иван смастерил двухместные санки и катал малышей уже по последнему снегу.

До летних каникул раза два ненадолго приезжала Оля, похудевшая, погрустневшая... Привозила ребятишкам наряды, теперь уже парные.

Одетые в новенькое, одинаковое, кудрявый мальчишка и белоголовая девчушка вызывали теперь умиление и улыбку даже у старух.

– Ребенок не виноватый, – примирительно говорили они, – вона Кузьма-цыган в Просницах бросил кочевье и живет с Нюркой-бригадиршей, уж трое погодков у них.

– Ну дак цыган-от все же русский...

– Русский не русский, но крещеный. Вот бы и тебе, Зотовна, окрестить парнишонка...

Но Зотовна побаивалась Зинки.

На лето Оля приехала к удовольствию бабки одна. Африканец уехал в свою трудновыговариваемую страну бороться за независимость, даже не доучился.

Управившись в огороде, Зотовна поехала к дочери Людмиле в город, отдохнуть на недельку. Но получила от той выговор за Ольгу. Получалось, что это она испортила девку с детства и сейчас вместо того, чтобы проучить ее, пригрела снова под своим крылышком. Обиделась Зотовна, крепко обиделась на дочь и назавтра прикатила обратно. А дома – вот она, радость – тянутся ручонки к ней, глазенки смеются, и губы лопочут: «Ма...»

– Масеньки вы мои... – смеется старуха, прижимая к себе свое счастье.

А Оля ей радостно так:

– Устроилось все, бабулюшка, письмо я получила. С сентября буду работать в круглосуточных яслях ночной нянечкой. Заберу Сашку, освобожу тебя.

От этого «освобожу» бабке стало не по себе. Что же – снова оставаться одной в четырех стенах? Вон как он ножонками крепенькими перебирает, скоро ходить начнет, чадушко ее, а она и не увидит. Да и Оля тогда, считай, уже все, может, раз в году наведается... Поняла Зотовна, что действовать надо, не терять времени. Пошла в новорубленый детский комбинат, построенный взамен старого садика. Заведующая была стародавняя, и напросилась к ней Зотовна на работу: картошку чистить да за молоком ездить, но чтоб Сашеньку определить. На обратном пути с Зинкой с глазу на глаз потолковала. Теперь у них получился сговор против Оли. Поколебалась внучка, посомневалась, но уступила – настращали ее болезнями, бензинным городским воздухом.

Провожали ее всей честной компанией с Бердниковыми и ребятишками. Поцеловала она своего кучерявенького, улыбающегося на все четыре зубика, и расплакалась, садясь в автобус.

– Ох и кукушки же оне у тебя, что Людка, что эта... – услышала Зотовна сзади. Оглянулась, а там бабка Косых, змея злющая...

– Каки же кукушки, коли все в дом родной несут, – обрезала ее Зотовна.

Вот так двумя семьями и зажили. У Бердниковых своей бабки нет, так Зотовна, как подросли, и Сашку, и Марью в садик и из садика водит и вечером посидит, пока молодые в клуб сходят. Коли Сашка приболеет, тут Зина первая помощница – а об Иване и говорить нечего: по хозяйству поможет – дрова ли привезти, огород ли вспахать, и Сашку по выходным с коленей не спускает. Марья Ивановна – та строгая да рассудительная росла, все больше хозяйничала да мальчишкой командовала, а Сашка – мальчишка ласковый и технику до дрожи любил. Посадит его Иван на мотоцикл да прокатит – и радости на неделю. А Марья Ивановна в стороне стоит, от горшка два вершка, а руки как у Зины на груди сложены.

Сашкин отец так и не вернулся. «Война у них», – оправдывала его Оля.

«И слава богу, – думала про себя так ни разу и не надевшая дорогую кофту Зотовна, – еще увез бы ребенка. Кто его знает, иностранца, у них свои законы».

Оля, приезжая на лето, возила ребятишек в город то в цирк, то в кукольный театр – прививала сызмальства культуру. И все уговаривала Зотовну переехать с Сашкой к ней. После защиты диплома ее оставляли работать в институте и давали комнатку в общежитии.

Старухе было жалко Валков, расстроившихся и похорошевших за последние годы, и своего еще крепкого дома, но и Сашку отрывать от себя не хотелось. Но кто знает, как все сложится в жизни, стара она стала, здоровье барахлит. Сашку без нее обидеть могут злые люди. В Валках к нему все привыкли, за своего давно, а в городе опять начнут диковать, что не русский.

«Да как же не русский; – возмущалась она, – вона как чисто, лучше многих валковских говорит и стихи читает, как Олюшка в детстве».

Терзали старую раздумья, и на всякий случай решила она Сашеньку окрестить. Никогда особо богомольной не была, молилась разве что, когда жизнь прижимала, а тут решилась, убедила себя, что будет к лучшему. Улучила как-то время, когда Бердниковы всей семьей уехали в гости к родственникам, и отправилась с правнуком в район.

Был престольный праздник, в церкви шла служба. Крепко держа за руку вертящего головой парнишку, ступила она в церковь, где в дымке от восковых свечей и ладана плавали дребезжащие песнопения старушечьего хора. У входа народу было много, и потому пошли они потихоньку людским коридором вперед. Тут хор замолк, распахнулись двери алтаря, и вышел рослый, весь в золоченых одеждах священник. Он вознес руки, и Зотовна знала: через секунду гулкая тишина храма должна наполниться его рокочущим басом. Но в этой тишине вдруг раздался веселый Сашкин голос:

– Мамка! Гляди-ка – клоун! Да вона же клоун! – вырывая у нее руку и показывая на священника, радовался мальчишка.

На них зашикали, оглядываясь, зашептались, заойкали, закрестились. Зотовна, зажав Сашке рот, опрометью бросилась назад. Он упирался, а потом долго еще ревел, не понимая, почему она утащила его из цирка и не велит никому про то сказывать...

Комнату Оле дали маленькую, зарплата тоже невелика, и было решено повременить с переездом. Остались они снова вдвоем, вполне довольные отсрочкой и своей жизнью в деревне. Вместе топили баню, копали картошку, собирали грибы маслята в сосновых посадках у дороги, ходили на телевизор к Бердниковым, а в праздники к бабушкиным подружкам, где Саша пел со старухами их длинные песни.

Были в их доме мир, согласие и маленькие радости, когда Оля присылала в посылках любимый «мирмилат». За посылками обычно отправлялись втроем – с Марьей Ивановной, которая все сладости честно делила на две половины. Иногда ребятишки спорили и даже незло дрались, за что мама Зина могла их и отшлепать, а бабулюшка, их главная мамка, после шлепков утешить и даже выделить по конфетке из своих запасов.

У Бердниковых родилась вторая девочка, – и Марья Ивановна, ревниво встретившая появление сестренки, теперь дневала и ночевала у Зотовых.

Ульяне Зотовне пришлось уйти с работы, стали к вечеру опухать и болеть ноги. «Видно, отбегала свое», – так и написала она в заявлении. Лицо ее вроде бы похудело, резче обозначились морщины на потемневшей коже. Телом была еще по-прежнему полна, но словно бы обмякла, осела, пологие плечи опустились – годочки катились к семидесяти.

Ребятишки подросли, теперь не то что одевались, но сами в садик и в магазин бегали. Иван купил им один на двоих велосипед, и они гоняли на нем по заросшей топтуном улочке.

Изменения намечались и у мамы Оли. Пришла как-то Зина к Зотовне и завела разговор о том, что рано Ольге такой молодой да ученой на себе крест ставить, жизнь устраивать надо, не война – одной век коротать.

– Ты уж говори напрямки! – не выдержала старуха.

Оказалось, зовет Олю замуж какой-то аспирант, русский и человек неплохой. Промолчала Зотовна, но стала задумчива и рассеянна. Она уже привыкла было к мысли, что жить им втроем. Ради этого и Валки решалась оставить, а тут вот, пожалуйста... Придется, видно, ей все же век одной доживать. Сашеньку-то как же держать? Оля – мать ему. А вот ей, старой, ни к чему в чужой дом.

Оля не спешила на этот раз. Приезжала все одна и ни гугу про аспиранта, словно бы и не было его. И лишь через год написала Зотовне, что они с Вадимом-аспирантом решили расписаться, так скорее дадут квартиру да попросторнее, и Саше надо начинать учебу в школе в Москве, на месте. О Зотовне в письме ничего не было сказано.

«Тебе жить, смотри сама», – отписала ей бабка и стала мысленно готовить себя к смерти, туда, куда одна за другой, словно торопясь опоздать, уходили в последние годы ее сверстницы. Она зачастила на кладбище, на могилу своего Паши, рядом с которой определила и себе местечко. Как-то взяла с собой Сашу и показала ему это место, слева от травянистого холмика мужа под старой черемухой.

– Ладно, мамка, я запомню, – пообещал серьезно правнучек, – только ты не помирай пока.

– Да как уж придется, касатик мой, – растрогалась она.

В середине августа приехала Оля с аспирантом. Он, как мысленно и представляла Зотовна, оказался похожим на того африканца – высокий, в отутюженной тройке, только волосом и кожей светлый. Встретила она его сдержанно, хотя он с порога стал называть ее мамашей и подарил диковинный стеженый электрический сапог – греть больные ноги. Она повертела эту странную штуковину, проворчала про себя «вот деньги мусорят» и убрала сапог в сундук, где все так же лежала пересыпанная нафталином кофта африканца.

Вадим заигрывал с Сашкой, но как-то осторожно, словно боялся до него дотронуться, а тот убегал от него к Ивану на поле или с друзьями шел рыбачить.

Тогда гость начинал стараться для Зотовны. Он брался за любую работу: носил, расплескивая, воду в баню, неумело колол дрова, латал вместе с Олей крышу. Был он человеком городским, и не все у него получалось. «Руки растут не из того места», – сказала Зотовна Зине. Еще он донимал ее разговорами о жизни, о старых праздниках, и она постепенно смягчилась к нему: «Он-то в чем передо мной виноватый?»

Он звал ее поехать с ними в Москву, пока, конечно, в общежитие, но там у них две комнаты, одну они уступят им с Сашей. Но молчавшая поначалу Зотовна высказалась категорично:

– Кака мне сичас Москва. Одно осталось кочевье – к Паше на бугор. Там уж местечко приглядела. Сашенька укажет. Тут хошь по-людски в землю зароют, не сожгут... На что мне Москва!

Ольга привезла школьную форму Марье Ивановне, и они чуть ли не каждый день примеряли ее у зеркала, и мать рассказывала, какую красивую форму они купили Саше и какой у него ранец с картинками, и какая у него будет большая и красивая школа в Москве. Марья Ивановна завидовала и тоже хотела в Москву, а у Сашки блестели глаза от ожидания перемен.

У Зотовны от этих разговоров разбаливалась голова и пропадал сон. Когда же накануне отъезда Вадим словно невзначай при ней сказал, глядя в окно, где возились у велосипеда ребятишки: «Тяжело ему придется, в городе дети злые, дразнить станут», – Зотовна совсем потеряла покой. По интонации, по уверенности в голосе зятя, так и не расположившего к себе мальчишку, она поняла, что тяжело придется Сашке не только в школе.

Ночь она почти не спала, хотя и пила запаренные травы.

Было воскресенье, и провожать Сашку вышли не только Бердниковы, но и соседи по улице, и мальчишки-друзья со всей деревни. Все сгрудились у калитки, где стояла Зотовна. Старая почувствовала, как в ее щеку ткнулась Оля, потом Вадим. Ноги у нее ослабли и задрожали, и она села на скамейку.

Сашку, веселого, принаряженного, целовали по очереди бабы, мужики ему, как взрослому, жали руку и трепали по голове, каждый что-нибудь говорил на дорогу – про учебу, про Москву, про то, что он не должен их забывать.

И вот настал тот момент, оттягивать который уже больше не имело смысла. Сашка подошел к Зотовне, и все замолчали. Она сквозь слезы, застилавшие глаза, видела его как в тумане, и, боясь, что не выдержит и завоет в голос, перекрестила его и стала отстранять рукой к машине, чтоб он шел, чтоб не мешкал, чтоб уже скорее кончалась эта мука...

И он, поняв ее жест, сделал шага три туда, где его крепко взяла за руку мать, приговаривая: «Пора, уже пора...», но, словно поняв, почувствовав не умом, а тайными силами детской своей души, что от этого разъединения рушится что-то такое важное, – обернулся на бабулюшку, на главную свою мамку, закричал, заплакал и стал вырываться из рук матери.

Оля схватила его в охапку, чтобы силком унести в машину, но тут выскочила из толпы ребятишек Марья Ивановна и вцепилась в Сашкины ноги. Ревя и повизгивая, она стала тянуть его в противоположную сторону. Оля, растерявшись, разжала руки, и ребятишки опрометью кинулись к Зотовне, вцепились в нее, не переставая реветь. Та обняла их своими большими руками, как бы защищая от чего-то, и слезы покатились у нее по морщинам, и нечем их было вытереть.

– Так я и знала, – убивалась Оля, – сыночек, мы же опоздаем на поезд.

Но он выкрикивал сквозь рыдания:

– Не поеду! Не хочу! С мамкой останусь!

Бабы, вытирая слезы, стали расходиться, мужики ушли к машине, где курили Петька-шофер и Вадим.

Оля и Зина, сев на корточки перед ребятишками и Зотовной, уговаривали Сашку, снова обещая красивую форму, ранец с картинками и большую, аж в пять этажей, школу. Иногда он, словно прислушиваясь,

затихал, и Оля с надеждой дотрагивалась до него, чтоб оторвать от бабушки, но он от ее прикосновения снова начинал биться в испуге и реветь. Его тут же дружно поддерживала Марья Ивановна. Когда Зина, не сумев оторвать дочь от руки Зотовны, шлепнула ее, та в ответ устроила такую мельницу ногами, что матери пришлось отступить.

– Бабулюшка, сделай что-нибудь, – уговаривала, испробовав все средства, Оля, – Вадиму завтра с утра в институт, ехать надо, опоздаем...

– Так и поезжайте, – уже спокойно, без слез, но и с некоторой печалью, словно винясь перед внучкой, ответила старуха.

Молодые уехали. Разошлись мужики, ушла Зина кормить малышку. Остались на щелястой, когда-то крашенной в зелень скамеечке они одни: большая, изборожденная морщинами, как кора старого дуба, старуха и два птенца – черноголовый и белоголовый по бокам. Она сидела все так же молча, но успокоенная и просветленная. Сашка, прижавшись к ней справа, уже не всхлипывал. Он словно задумался, обмяк и готов был вот-вот заснуть. Лишь Марья Ивановна, выглядывая из-под бабушкиной руки, продолжала возмущаться:

– Нашли моду – из родного дома человека забирать...

Слушая ее, поглаживая Сашку по спине, Зотовна светлела лицом.

«Поживу еще», – с облегчением подумала она.